

## I

Часы на бирже только что пробили одиннадцать, когда Саккар вошел в ресторан Шампо, в белый с позолотой зал с двумя высокими окнами, выходящими на площадь. Он окинул взглядом ряды столиков, где с озабоченным видом, близко придвинувшись друг к другу, сидели посетители, и, казалось, удивился, не найдя того, кого искал.

Один из официантов, торопливо сновавших по залу, пробегал мимо с полным подносом. Саккар спросил его:

- Что, господин Гюре не приходил?
- Нет еще, сударь.

Тогда, решив ждать, Саккар сел за освободившийся столик в амбразуре окна. Он боялся, что опоздал, и, пока меняли скатерть, стал смотреть на улицу, следя за прохожими. Даже когда ему подали прибор, он не сразу заказал завтрак и еще несколько мгновений не отрывал глаз от площади, залитой веселым светом одного из первых майских дней. В этот час, когда все завтракали, она почти совсем опустела: скамьи под каштанами с нежной молодой зеленью были свободны; на стоянке экипажей, вдоль ограды, от одного ее конца до другого, вытянулся ряд фиакров; и омнибус, идущий от Бастилии, остановился перед конторой у сада, не приняв и не высадив ни одного пассажира. Лучи солнца, падая почти отвесно, заливали светом здание биржи с его колоннадой, двумя статуями, широкой лестницей и обширным пространством за ко-

лоннами, где пока стояли только пустые стулья, выстроенные в боевом порядке.

Обернувшись, Саккар увидел за соседним столиком Мазо, биржевого маклера. Он протянул ему руку:

— А, это вы! Здравствуйте!

— Здравствуйте, — отозвался Мазо, рассеянно отвечая на рукопожатие.

Маленький, подвижный красивый брюнет, Мазо недавно, в тридцать два года, получил свою должность по наследству от дяди. Казалось, он был всецело поглощен беседой с сидевшим напротив него толстым господином с красным бритым лицом, знаменитым Амадьё, к которому вся биржа преисполнилась уважением после его прославленной аферы с Сельсисскими рудниками. Когда акции упали до пятнадцати франков и на каждого, кто их покупал, смотрели как на безумца, он вложил в это дело все свое состояние, двести тысяч франков, на авось, без всякого расчета или чутья, с упрямством удачливого тупицы. Потом действительно были найдены богатые месторождения руды, курс акций перевалил за тысячу франков, и Амадьё выиграл около пятнадцати миллионов; его сумасбродная покупка, за которую в свое время его нужно было бы посадить в сумасшедший дом, теперь создала ему славу одного из самых глубоких финансовых умов. Ему все кланялись, с ним советовались. Впрочем, с тех пор он воздерживался от дел, словно был удовлетворен, царствуя в ореоле своей единственной легендарной аферы. Мазо, должно быть, мечтал заполучить его в клиенты.

Саккар, которого Амадьё не удостоил даже улыбки, раскланялся с тремя знакомыми дельцами, сидевшими за столиком напротив, — Пильеро, Мозером и Сальмоном:

— Здравствуйте! Как дела?

— Да ничего... Здравствуйте!

С их стороны он тоже почувствовал холодок, почти враждебность. А между тем Пильеро, высокий, очень худой, с резкими жестами, с ястребиным носом на костлявом лице странствующего рыцаря, обычно отличался фамильярностью игрока, который взял себе за правило действовать напропалую: он говорил, что терпит полный крах всякий раз, как начинает размышлять. У него был буйный темперамент игрока на повышение, тогда как Мозер, низенький, с желтым цветом лица, истощенный болезнью печени, напротив, беспрестанно ныл, все время опасаясь какой-нибудь катастрофы. Что касается Сальмона, это был очень красивый мужчина, который в пятьдесят лет не поддавался приближающейся старости, гордился своей роскошной черной как смоль бородой и считался необыкновенно ловким малым. Он был очень неразговорчив, отвечал только улыбками; никто не знал, играет он на повышение или на понижение, да и вообще играет ли он; его манера слушать производила на Мозера такое впечатление, что часто, рассказав Сальмону о своих делах и сбитый с толку его молчанием, он бежал изменить какой-нибудь ордер на покупку или на продажу ценных бумаг.

В этой атмосфере всеобщего равнодушия Саккар продолжал осматривать зал беспокойным и вызывающим взглядом. Он издали обменялся поклоном еще только с одним высоким молодым человеком, красавцем Сабатани, левантинцем с великолепными черными глазами и продолговатым смуглым лицом, которое, однако, несколько портил неприятный, вызывающий недоверие рот. Любезность этого молодчика окончательно рассердила Саккара: наверно, проворовавшийся на какой-нибудь иностранной бирже, таинственная личность, любимец женщин, Сабатани появился здесь прошлой осенью; Саккар знал, что его уже успели использовать в качестве подставного

лица при крахе одного банка; постепенно он завоевывал доверие маклеров и кулисье своей корректностью и неутомимой любезностью даже по отношению к лицам, пользующимся самой дурной репутацией.

Перед Саккаром стоял официант:

— Что прикажете подать, сударь?

— Ах да! Что-нибудь, ну хоть котлету и спаржи.

Затем он снова окликнул официанта:

— Вы уверены, что господин Гюре не был здесь и не ушел еще до моего прихода?

— О, совершенно уверен!

Вот до чего он дошел после этой катастрофы, когда ему пришлось в октябре еще раз ликвидировать свои дела, продать особняк в парке Монсо и нанять вместо него квартиру, — только такие, как Сабатани, здоровались с ним, головы уже не поворачивались, руки не протягивались к нему, когда он входил в ресторан, где прежде царил. Страстный игрок по натуре, он не обижался на это после своей последней скандальной и злосчастной аферы с земельными участками, в результате которой ему не удалось спасти ничего, кроме собственной шкуры. Но его охватывало страстное желание отыгаться и бесило отсутствие Гюре, который обещал ему непременно прийти сюда к одиннадцати часам, чтобы рассказать о своем разговоре с его братом Ругоном, в то время всемогущим министром. Больше всего он сердился на брата. Гюре, депутат, послушный воле министра, обязанный ему своим положением, был только посредником. Но неужели всемогущий Ругон оставит его на произвол судьбы? Ругон никогда не был хорошим братом. То, что он рассердился после катастрофы и открыто порвал с ним, чтобы самому не быть скомпрометированным, было еще понятно; но за эти полгода разве не мог он оказать ему тайную поддержку? И неужели теперь у него хватит бессердечия отказать в последней

помощи, о которой Саккар, не смея обратиться к нему лично, чтобы не вызвать в нем приступа бешенства, просил через третье лицо? Стоит ему сказать одно только слово, и Саккар снова поднимется на ноги и будет поширать этот подлый огромный Париж.

— Какого вина прикажете, сударь? — спросил метрдотель.

— Вашего обычного бордо.

Котлета Саккара остывала, но он не чувствовал голода, поглощенный своими мыслями. Заметив, что по скатерти его стола мелькнула тень, он поднял глаза. Это был Массиас, биржевой агент, толстый краснолицый малый, прежде сильно нуждавшийся. Он проскользнул между столиков с таблицей курсов в руке. Саккар был уязвлен, когда он проскочил мимо него, не остановившись, и предложил таблицу Пильеро и Мозеру. Увлечшись своим спором, те едва бросили на нее рассеянный взгляд, — нет, у них не было никаких поручений, может быть, в другой раз. Массиас, не смея подойти к знаменитому Амадьё, который, склонившись над салатом из омаров, вполголоса разговаривал с Мазо, вернулся к Сальмону. Тот взял таблицу, долго ее изучал, затем возвратил, не сказав ни слова. Оживление в зале возрастало. Ежеминутно, хлопая дверьми, входили другие агенты. Многие издали громко переговаривались, биржевая лихорадка разгоралась по мере того, как приближался полдень. И Саккар, взгляд которого постоянно возвращался к окну, заметил, что площадь тоже постепенно оживает, прибывают экипажи и пешеходы, а на ступенях биржи, залитых ярким солнцем, один за другим, как темные пятнышки, уже показываются люди.

— Говорю вам, — сказал Мозер своим скорбным голосом, — что дополнительные выборы двадцатого марта — очень тревожный симптом... Словом, оппозиция уже завоевала весь Париж.

Но Пильеро пожимал плечами. Что могло измениться от того, что на скамьях левых появились Карно и Гарнье-Пажес?

— Вот тоже вопрос о герцогствах<sup>1</sup>, — продолжал Мозер, — ведь он чреват осложнениями. Конечно! Напрасно смеетесь! Я не хочу сказать, что мы должны воевать с Пруссией, чтобы помешать ей жиреть за счет Дании; однако была возможность действовать другими путями... Да, да, когда сильные начинают пожирать слабых, нельзя предугадать, чем это может кончиться. Что же касается Мексики...

Пильеро, который в этот день был в самом благодушном настроении, перебил его, громко засмеявшись:

— Ах, дорогой мой, вы нам надоели с вашими страхами насчет Мексики... Мексика будет славной страницей этого царствования...<sup>2</sup> Черт возьми, откуда вы взяли, что Империя в опасности? Январский заем в триста миллионов был покрыт больше чем в пятнадцать раз! Потрясающий успех!.. Слушайте, я вам назначаю свидание в шестьдесят седьмом году, да, через три года, когда откроется Всемирная выставка, согласно недавнему решению императора.

— Говорю вам, дела плохи, — безнадежным тоном повторял Мозер.

---

<sup>1</sup> Имеются в виду принадлежавшие Дании Шлезвиг и Гольштиния, за обладание которыми боролись Пруссия и Австрия.

<sup>2</sup> В 1861 году республиканское правительство Мексики из-за финансовых затруднений прекратило платежи по иностранным займам. Воспользовавшись этим, Франция, Англия и Испания в конце 1861 года отправили в Мексику вооруженные силы. Вскоре Англия и Испания отозвали свои войска, экспедиционная же армия французов развернула широкие военные действия. Летом 1863 года французские войска вступили в город Мехико и под угрозой своих штыков заставили собрание нотаблей «согласиться» на провозглашение империи и возложение императорской короны на ставленника Луи Бонапарта — эрцгерцога австрийского Максимилиана.

— Да бросьте вы, все в порядке!

Сальмон по очереди взглядывал на них, улыбаясь со свойственным ему пронизательным видом. И Саккар, слышавший их разговор, сопоставлял свои личные затруднения с кризисом, который, казалось, угрожал Империи. Судьба еще раз положила его на обе лопатки; неужели этот режим, который его создал, обрушится, как и он, с недостижимых высот во тьму ничтожества? Ах, как он любил и как защищал Империю, чувствуя, что в течение последних двенадцати лет сам он жил полной жизнью, рос, наливался соком, словно дерево, корни которого уходят в подходящую для него почву! Но если брат хочет удалить его отсюда, если его хотят исключить из числа тех, кто процветает на жирном черноземе наслаждений, пусть все идет прахом в великом разгроме, которым должны завершиться пиршественные ночи!

Пока он ожидал свою спаржу, на него нахлынули воспоминания и унесли его далеко от этого зала, где шум и волнение становились все сильнее. Он заметил свое отражение в зеркале напротив, и оно удивило его. Возраст не запечатлелся на его маленькой фигурке; в пятьдесят лет ему нельзя было дать больше тридцати восьми, и он все еще оставался худощавым и шустрым, как юноша. Его смуглое лицо с впалыми щеками, похожее на лицо марионетки, с острым носом и блестящими глазками теперь даже стало как-то благообразнее, приобрело какое-то очарование, упорно сохраняя живую и подвижную молодость, а в густой шевелюре еще не было ни одного седого волоса. И он невольно вспомнил свой приезд в Париж сразу после переворота, тот зимний вечер, когда он очутился на парижской мостовой без гроша в кармане, голодный, с бешеным желанием удовлетворить свои вождедения. Ах, эта первая прогулка

по парижским улицам, когда, даже не раскрыв чемодана, он почувствовал непреодолимую потребность, как был, в дырявых сапогах и засаленном пальто, броситься в город, чтобы завоевать его! С тех пор он много раз поднимался высоко, через его руки прошел целый поток миллионов, но никогда он не обладал фортуной как рабыней, как собственностью, которой располагаешь по своему желанию, которую держишь под замком, осязаемую, живую. Всегда в его кассах хранились ложные, фиктивные ценности, золото утекало из них в какие-то невидимые дыры. И вот он снова на мостовой, как в те далекие времена, когда только начинал свою карьеру, и все такой же молодой, такой же алчный, терзаемый все той же потребностью наслаждаться и побеждать. Он попробовал всего и не насытился, потому что, казалось ему, у него не было ни случая, ни времени как следует использовать людей и обстоятельства. Сейчас он испытывал особое унижение оттого, что чувствовал себя на этой мостовой ничтожнее новичка, которого еще поддерживают иллюзии и надежды. И его охватывало страстное желание начать все сначала и снова все завоевать, подняться на такую высоту, какой он еще не достигал, увидеть наконец у своих ног завоеванный город. Довольно обманчивого, показного богатства, теперь ему нужно прочное здание солидного капитала, нужна подлинная власть золота, царящая на туго набитых мешках!

Раздавшийся снова резкий и пронзительный голос Мозера на минуту оторвал Саккара от его размышлений:

— Экспедиция в Мексику стоит четырнадцать миллионов в месяц, это доказал Тьер... И надо быть поистине слепым, чтобы не видеть, что большинство в Палате ненадежное. Левых теперь больше тридцати человек. Сам император хорошо понимает, что не-



ограниченная власть становится невозможной, раз он первым заговорил о свободе.

Пильеро не отвечал и только презрительно усмехался.

— Да, я знаю, вам кажется, что рынок устойчив, что дела идут хорошо... Но посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что в Париже слишком много разрушили и слишком много настроили! Эти большие работы истощили накопления. Конечно, крупные банки как будто процветают, — но пусть только один из них лопнет, и вы увидите, как все они рухнут один за другим... Не говоря уже о том, что народ волнуется... Эта международная ассоциация трудящихся<sup>1</sup>, организованная недавно в целях улучшения жизни рабочих, очень меня пугает. Во Франции всюду недовольство, революционное движение усиливается с каждым днем... Говорю вам, в плод забрался червь. Все полетит к черту.

Но тут все стали громко возражать. У этого проклятого Мозера, должно быть, опять разболелась печень. Между тем, произнося свои речи, он не спускал глаз с соседнего столика, где Мазо и Амадьё, среди общего шума, продолжали тихо разговаривать. Мало-помалу весь зал встревожился этой конфиденциальной беседой. Что они поверяли друг другу, о чем шептались? Конечно, Амадьё давал ордера, подготовлял какую-то аферу. Вот уже три дня, как распространялись недобрые слухи о работах на Суэцком перешейке. Мозер прищурился и понизил голос:

— Вы знаете, англичане не хотят, чтобы там продолжались работы. Можно ожидать войны.

На этот раз даже Пильеро заколебался — уж очень поразительная была новость. Известие было неверо-

---

<sup>1</sup> Речь идет о I Интернационале, созданном в 1864 году Марксом и Энгельсом.

ятно, и оно тотчас же стало переходить от столика к столику, приобретая силу достоверности: Англия послала ультиматум, требуя немедленного прекращения работ. Амадьё, очевидно, об этом и говорил с Мазо и, конечно, поручал ему продать все свои акции Суэцкого канала. В воздухе, насыщенном запахом подаваемых блюд, среди непрерывного звона посуды поднялся ропот, надвигалась паника, и волнение усилилось до предела, когда внезапно вошел один из служащих Мазо, маленький Флори, молодой человек с приятным лицом, наполовину закрытым густой каштановой бородой. С пачкой фишек в руке он быстро пробрался к своему патрону и, передавая их, сказал ему что-то на ухо.

— Хорошо, — кратко ответил Мазо, раскладывая фишки по своему блокноту.

Затем, взглянув на часы, он сказал:

— Скоро двенадцать! Скажите Бертье, чтобы он подождал меня, и будьте сами на месте. Сходите за телеграммами.

Когда Флори ушел, Мазо возобновил разговор с Амадьё и, вынув из кармана чистые фишки, положил их на скатерть возле своей тарелки; каждую минуту кто-нибудь из его клиентов, уходя, наклонялся к нему мимоходом и говорил несколько слов, которые он быстро записывал на одном из кусочков бумаги, продолжая есть. Ложное известие, пришедшее неизвестно откуда, возникшее из ничего, разрасталось, как грозное облако.

— Вы продаете, не правда ли? — спросил Мозер у Сальмона.

Но последний промолчал и улыбнулся так загадочно, что Мозер оробел, уже сомневаясь в этом ультиматуме Англии и не подозревая, что сам только что его выдумал.

— Что до меня, так я куплю, сколько предложат, — решил Пильеро с хвастливой отвагой игрока, не признающего никакого метода.

Опьяненный атмосферой игры, наполнявшей этот тесный зал и все более накалявшейся к концу завтрака, Саккар решился наконец съесть свою спаржу, снова чувствуя раздражение против Гюре, который так и не явился. Вот уже несколько недель, как он, всегда быстро решавший все вопросы, колебался, одолеваемый сомнениями. Он понимал, что нужно коренным образом изменить свое положение. Сперва он мечтал о совсем новой жизни, о высшей административной или политической деятельности. Почему бы Законодательному корпусу не ввести его в Совет министров, как ввели его брата? В биржевой игре ему не нравилась эта постоянная неустойчивость — там можно было так же легко потерять громадные суммы, как и нажить их: никогда ему не приходилось спать спокойно, с уверенностью, что он обладает реальным миллионом и никому ничего не должен. И сейчас, тщательно анализируя самого себя, он сознавал, что, быть может, был слишком горяч для этих денежных битв, где нужно иметь столько хладнокровия. Вероятно, поэтому, повидав в своей необычайной жизни так много роскоши и нужды, за десять лет грандиозных спекуляций земельными участками нового Парижа, он прогорел и разорился, в то время как другие, более тяжеловесные и медлительные, нажили колоссальные состояния. Да, может быть, он ошибся в своих настоящих способностях, может быть, его активность, страстная вера в свои силы сразу обеспечили бы ему успех в политических схватках? Все будет теперь зависеть от ответа его брата. Если брат оттолкнет его, снова бросит его в пучину ажиотажа, — ну что ж, тем хуже для него и для других, он пойдет

тогда на крупнейшую аферу, о которой мечтал уже несколько месяцев, никому еще ничего не сказав, на колоссальное дело, пугавшее его самого; оно было такого размаха, что в случае успеха или провала должно было потрясти весь мир.

Пильеро громко спросил:

— А что, Мазо, исключение Шлоссера уже решено?

— Да, — ответил маклер, — сегодня будет объявление... Что же делать? Это всегда бывает неприятно, но я получил самые тревожные известия и первый опротестовал его векселя. Приходится время от времени выметать с биржи всякий сор.

— Мне говорили, — сказал Мозер, — что ваши коллеги Якоби и Деларок потеряли на этом деле кругленькие суммы.

Маклер пожал плечами:

— Ничего не поделаешь... За спиной этого Шлоссера действовала, наверное, целая шайка; ему что? Он теперь поедет обирать берлинскую или венскую биржу.

Саккар перевел взгляд на Сабатани, который, как он случайно узнал, был в тайном сообщничестве с Шлоссером: оба вели хорошо известную игру — один на повышение, другой на понижение тех же самых бумаг; тот, кто проигрывал, получал половину доходов другого и исчезал. Но молодой человек спокойно платил по счету за свой изысканный завтрак. Затем, со свойственным ему мягким изяществом уроженца востока с примесью итальянской крови, он подошел пожать руку Мазо, клиентом которого состоял. Наклонившись к нему, он передал какое-то поручение, и Мазо записал его на карточке.

— Он продает свои суэцкие акции, — пробормотал Мозер.

И, не выдержав, терзаемый подозрениями, громко спросил:

— Ну как, что вы думаете о Суэце?

Гул голосов смолк, головы всех сидевших за соседними столиками повернулись к нему. Этот вопрос выражал все растущую тревогу. Но спина Амадьё, который пригласил Мазо завтракать просто для того, чтобы рекомендовать ему одного из своих племянников, оставалась непроницаемой, так как ее обладателю нечего было сказать; а маклер, удивленный обилием ордеров на продажу акций, только кивал, из профессиональной скромности не высказывая своего мнения.

— Суэц — верное дело! — заявил своим певучим голосом Сабатани, который, выходя, обошел столики, чтобы любезно пожать руку Саккару.

И Саккар сохранил на минуту опущение этого рукопожатия, этой гибкой и мягкой, почти женской руки. Еще не решив, какой путь избрать, как по-новому перестроить жизнь, он считал жуликами всех, кого видел здесь. Ах, если они принудят его к этому, как он прижмет их, как оберет этих трусливых Мозеров, хвастливых Пильеро, пустых, как тыква, Сальмонов и этих Амадьё, слывущих гениями только потому, что им повезло! Звон стаканов и тарелок усилился, голоса становились хриплыми, двери хлопали сильнее, все хотели быть там, на бирже, когда акции Суэца полетят вниз. И, глядя в окно на площадь, которую бороздили фиакры и наводняли пешеходы, Саккар видел, что залитые солнцем ступени биржи были теперь испещрены, словно насекомыми, непрерывно поднимавшимися мужчинами в строгих черных костюмах, постепенно заполнявшими колоннаду, а за оградой появились неясные фигуры бродивших под каштанами женщин.

Но едва он принялся за свой сыр, чей-то густой бас заставил его поднять голову:

— Простите, дорогой мой, я никак не мог прийти раньше.

Наконец-то! Это был Гюре, нормандец из Кальвадоса, с грубым и широким лицом хитрого крестьянина, разыгрывающего простака. Он сейчас же велел подать себе что-нибудь, хотя бы дежурное блюдо с овощами.

— Ну? — сухо, сдерживаясь, спросил Саккар.

Но тот, как человек осторожный и себе на уме, не торопился. Он принялся за еду и, наклонившись, понизив голос, сказал:

— Ну, я видел великого человека. Да, у него дома, сегодня утром. О, он был очень мил, очень мил по отношению к вам.

Он остановился, выпил полный стакан вина и положил в рот картофелину.

— И что же?

— Так вот, дорогой мой... Он готов сделать для вас все, все, что сможет; он вас очень хорошо устроит, только не во Франции... Например, губернатором в какой-нибудь из самых лучших наших колоний. Там вы будете полным хозяином, настоящим царьком.

Саккар позеленел:

— Да вы что же, сместесь надо мной? Почему тогда не прямо в ссылку? А, он хочет от меня отделаться! Пусть побережется, как бы я и в самом деле не доставил ему неприятностей.

Гюре с полным ртом старался успокоить его:

— Да что вы, мы хотим вам только добра, позвольте нам позаботиться о вас.

— Чтобы я позволил уничтожить себя, не так ли?.. Слушайте! Только что здесь говорили, что Империя уже совершила почти все ошибки, какие только мож-

но совершить. Да, война с Италией<sup>1</sup>, Мексика, отношения с Пруссией. Честное слово, все это правда! Вы делаете столько глупостей и безумств, что скоро вся Франция поднимется и вышвырнет вас вон.

Депутат, послушная креатура министра, сразу встревожился, побледнел, стал озираться вокруг:

— Простите, я не могу согласиться с вами... Рюгон — честный человек. Пока он у власти, бояться нечего... Нет, подождите, вы его недооцениваете, уверяю вас.

Саккар грубо прервал его и сдавленным голосом проговорил:

— Ладно, целуйтесь с ним, обдeldывайте вместе свои дела! Да или нет, будет он помогать мне здесь, в Париже?

— В Париже — никогда!

Не сказав больше ни слова, Саккар встал и подзвал официанта, чтобы расплатиться, тогда как Гюре, знавший его бешеный нрав, спокойно глотал большие куски хлеба и не противоречил ему, опасаясь скандала. Но в эту минуту в зале началось сильное волнение.

Вошел Гундерман, король банкиров, хозяин биржи и всего мира, человек лет шестидесяти, с огромной лысой головой и круглыми глазами навывкате; лицо его выражало бесконечное упрямство и крайнюю усталость. Он никогда не бывал на бирже и даже нарочно не посылал туда официальных представителей; он никогда не завтракал в публичных местах. Изредка только ему случалось, как сегодня, показаться в ресторане Шампо, где он садился за столик и зака-

---

<sup>1</sup> После революции 1848 года в Италии развернулась национально-освободительная борьба за объединение страны и ликвидацию австрийского господства. В 1859 году Луи Бонапарт вмешался в австро-итальянскую войну на стороне Италии. Однако, нанеся Австрии поражение, Наполеон III помешал ее полному разгрому.

зывал всего лишь стакан виши, который ему подавали на тарелке. Уже двадцать лет он страдал болезнью желудка и питался исключительно молоком.

Официанты стремглав бросились за водой, а все присутствующие приняли подобострастные позы. Мозер со смиренным видом рассматривал этого человека, которому известны были все тайны, который повелевал повышением и понижением курса, как бог повелевает громом. Сам Пильеро почтительно приветствовал его, веря только в непреодолимую силу миллиарда. Было уже половина первого, и Мазо внезапно оставил Амадьё, подошел и склонился перед банкиром, от которого он иногда имел честь получить ордер. Многие биржевики, собравшиеся уходить, стоя окружили божество и, угодливо согнув хребты, почтительно смотрели, как он взял дрожащей рукой стакан воды и поднес его к своим бледным губам, в то время как официанты вокруг поспешно уносили грязные скатерти.

Когда-то в связи со спекуляциями земельными участками в Монсо Саккар имел разногласия с Гундерманом и даже однажды поссорился с ним. Они были слишком разные люди: один — страстный, падкий до наслаждений, другой — умеренный, исполненный холодной логики. И теперь, когда Саккар, окончательно взбешенный этим триумфальным появлением, выходил из ресторана, Гундерман окликнул его:

— Скажите, друг мой, правда ли, что вы бросаете дела? Наконец-то вы взялись за ум, — давно пора.

Для Саккара это было ударом хлыста по лицу. Он выпрямился во весь свой маленький рост и ответил ясным, колющим, как острие шпаги, голосом:

— Я основываю банк с капиталом в двадцать пять миллионов и надеюсь скоро заглянуть к вам.

И он вышел, оставив за собой гул возбужденных голосов, — в зале все теснились к дверям, чтобы не



опоздать к открытию биржи. Ах, если бы наконец добиться успеха, снова увидеть у своих ног тех, кто теперь поворачивается к нему спиной, помериться силами с этим королем золота и, быть может, свалить его когда-нибудь! Он еще не решил начать свое грандиозное дело, он сам удивился той фразе, которую произнес, чтобы только что-нибудь ответить. Но разве может он теперь попытаться счастья на каком-нибудь другом поприще, когда брат отказывается от него, когда люди и обстоятельства непрерывными оскорблениями вызывают его на борьбу, как окровавленного быка, которого снова и снова выгалкивают на арену?

С минуту он стоял, весь дрожа, на краю тротуара. Это был тот шумный час, когда жизнь Парижа как будто приливает к центральной площади между улицами Монмартр и Ришелье, двумя узкими артериями, по которым несется толпа. С четырех сторон площади непрерывным потоком катились экипажи, бороздя мостовую среди водоворота спешащих пешеходов. На стоянке, вдоль ограды, то разрывались, то снова смыкались две цепи фиакров, а на улице Вивьен коляски биржевых агентов вытянулись сплошным рядом, над которым возвышались кучера с вожжами в руках, готовые хлестнуть лошадей по первому приказанию. Ступени и колоннада биржи были до того запружены толпой, что казались черными от кишевших там сюртуков, а под часами, где уже собралась и действовала кулиса, поднимался шум спроса и предложения, гул ажиотажа, похожий на рокот поднимающейся волны, который заглушал обычный городской шум. Прохожие оборачивались, с вождедением и страхом думая о том, что происходит в этом здании, где совершается недоступное для большинства французов таинство финансовых операций, где среди этой давки и исступленных криков люди непостижимым образом вдруг разоряются или наживают

состояния. Саккар остановился на краю тротуара. В ушах у него стоял гул отдаленных голосов, его задевали на ходу локтями торопливые прохожие, а он опять мечтал основать царство золота в этом охваченном лихорадочной страстью квартале, посреди которого от часу до трех бьется, как огромное сердце, биржа.

Но со времени своей неудачи он не смел показаться на бирже, и сегодня то же чувство оскорбленного тщеславия, уверенность в том, что его встретят как побежденного, мешало ему подняться по ступеням. Как любовник, изгнанный из алькова своей возлюбленной, которую он страстно желает, хотя ему кажется, что он ее ненавидит, словно увлекаемый роком, он возвращался сюда под всякими предлогами, огибал колоннаду, проходил через сад с видом человека, прогуливающегося в тени каштанов. Здесь, в этом пыльном сквере без газонов и цветов, где на скамьях, среди общественных уборных и газетных киосков, копошились спекулянты подозрительного вида и простоволосые женщины из соседних кварталов кормили грудью своих младенцев, он делал вид, что бродит без определенной цели, и, поднимая глаза, наблюдал за биржей, и ему все казалось, что он осаждает это здание, заключает его в тесное кольцо блокады, чтобы когда-нибудь войти туда триумфатором.

Он повернул за угол направо, в тень деревьев против Банковской улицы, и сейчас же очутился на «малой» бирже обесцененных акций, среди «мокроногих», как с презрительной иронией называют этих спекулянтов биржевым хламом, торгующих на ветру, под дождем и в грязи акциями прогоревших предприятий. Тут была целая толпа евреев с жирными, лоснящимися лицами, с острым профилем прожорливых птиц, необыкновенное сборище типичных носов; склонившись, словно стая над добычей, с неисто-

выми гортанными криками, они, казалось, готовы были растерзать друг друга. Проходя мимо, Саккар вдруг заметил стоявшего поодаль грузного человека, который разглядывал на солнце рубин, осторожно поворачивая его в своих толстых и грязных пальцах.

— А, Буш!.. Я и забыл, что как раз собирался зайти к вам.

Буш, у которого была деловая контора на улице Фейдо, много раз в затруднительных обстоятельствах оказывал услуги Саккару. Он продолжал в самозабвении исследовать игру драгоценного камня, запрокинув широкое плоское лицо с серыми глазами навывкате, как бы потухшими от яркого света; его белый галстук, которого он никогда не снимал, скрутился жгутом, а сюртук, купленный по случаю, когда-то превосходный, но необыкновенно потертый и весь в пятнах, поднялся у него на затылке до тусклых волос, падавших с голого черепа редкими и непослушными прядями. Возраст его шляпы, порывевшей от солнца, полинявшей от дождей, невозможно было определить.

Наконец он решился спуститься с небес на землю:

— А, господин Саккар, и вы завернули сюда?

— Да... У меня тут письмо на русском языке, письмо от одного русского, у него банк в Константинополе. Так вот, я подумал, что ваш брат мог бы мне его перевести.

Буш, продолжая с бессознательной нежностью вертеть свой рубин в правой руке, протянул левую, говоря, что сегодня же вечером он пришлет перевод. Но Саккар объяснил, что в письме всего только десять строк.

— Я поднимусь к вам, и ваш брат мне тут же его и прочтет.

Его прервало появление госпожи Мэшен, женщины чудовищно тучной, хорошо известной завсегда-

таям биржи: это была одна из тех ненасытных мелких спекулянтток, чьи жирные руки вечно копаются во всяких подозрительных делах. Лицо ее, похожее на полную луну, одутловатое и красное, с маленькими голубыми глазками, едва заметным носом пуговкой, с крошечным ротиком, откуда исходил тонкий писк, казалось, выширало из-под старой розовой шляпы, криво завязанной гранатовыми лентами, а гигантскую грудь и огромный, вздутый живот стягивало платье из зеленого поплина, побуревшего от грязи. На руке у нее висела старомодная черная сумка, с которой она никогда не расставалась, — громадная, глубокая, как чемодан. Сегодня эта сумка была набита до отказа, и под ее тяжестью Мэшен стибалась на правую сторону, как склоненное дерево.

— Вот и вы, — сказал Буш, по-видимому ожидавший ее.

— Да, я получила бумаги из Вандома, они со мной.

— Хорошо! Идем ко мне... Здесь сегодня нечего делать.

Саккар бросил косой взгляд на вместительную кожаную сумку. Он знал, что туда неминуемо попадают обесцененные бумаги, акции обанкротившихся компаний, на которых «мокроногие» еще продолжают играть, перекупая друг у друга пятисотфранковые бумаги за двадцать су, за десять су, в смутной надежде на невозможное повышение курса; другие, более практичные, покупают их как жульнический товар, который они с барышом уступят банкротам, стремящимся раздуть свой пассив. В смертельных финансовых битвах Мэшен была вороном, который провожает армии в походе; она со своей сумкой присутствовала при основании каждого акционерного общества, каждого банка, разнюхивала обстановку, ловила трупный запах даже в периоды процветания, во время блистательных эмиссий, зная, что крах неиз-